

Глава Ц

На острове меня определили в комнату к Этель Бернштейн и Доре Липкиной, схваченным во время рейда в Союзе русских рабочих. Обнаружив там «подрывную литературу» в виде учебников по английской грамматике и арифметике, погромщики арестовали всех, кто имел несчастье быть там в это время, щедро наградив каждого тумаками и зуботычинами.

К немалому моему изумлению, приказ о нашей высылке подписал не кто иной, как заместитель министра труда Льюис Пост. Я не могла в это поверить: Пост, ярый защитник единого налога, поборник свободы слова и печати, бесстрашный экс-редактор либерального еженедельника Public, поносивший власти за жестокость во время реакции Мак-Кинли, защищавший меня и утверждавший, что даже у Леона Чолгоша есть права, гарантированные ему американской конституцией, стал сторонником депортации? Человек радикальных воззрений, сам вызвавшийся председательствовать на митинге по случаю моего оправдания в деле по обвинению в покушении на Мак-Кинли, теперь оправдывает такие методы? Я бывала в гостях у четы Пост, где мы часто спорили с Льюисом об анархизме, и он признавал право идеалистов на взгляды и убеждения, хотя и сомневался в их целесообразности. Он был нашим соратником в борьбе за свободу слова, он пером и сердцем протестовал против высылки Джона Тёрнера, а теперь он, Льюис Пост, подписывает первый приказ о депортации радикалов!

Кое-кто из наших наивно полагал, что Пост побоялся нарушить присягу федерального чиновника, однако им и в голову не приходило, что, вступив в должность и дав эту присягу, он отказался от прежних взглядов. Если бы Льюис Пост был последователен, ему следовало бы уйти в отставку сразу после того, как Вильсон вынудил страну вступить в войну, ну, самое позднее — после приказа выслать людей за их взгляды. Поэтому я считала, что Пост покрыл себя несмываемым позором.

Такая бесхребетность удручала; но разве можно было требовать от Льюиса Поста смелости большей, чем её было у Генри Джорджа, его наставника и основоположника идеи единого налога, в последний момент предавшего наших чикагских товарищей? На тот момент к нему прислушивались, и он мог бы помочь спасти невиновных, но политические амбиции оказались сильнее чувства справедливости, и сейчас Льюис Пост шел по стопам своего почитаемого учителя.

Я пыталась успокоить себя мыслью о том, что среди нас еще не перевелись люди последовательные и сильные духом. Мои соратники по многим кампаниям за свободу слова — Болтон Холл, Гарри Вайнбергер, Фрэнк Стивенс, Дэниэл Кифер и многие другие — отстаивали свои антивоенные взгляды и сопротивлялись новому пришествию тирании. Стивенс, арестованный за пацифизм, в знак протеста не принял предложение выйти под залог; Кифера отличала редкостная твердость убеждений, а смыслом всей его жизни была свобода. Он был одним из первых сторонников единого налога, активно протестовавших

против вступления Америки в войну и «избирательного» призыва, и всей душой ненавидел ренегатов вроде Митчелла Палмера, Ньютона Бейкера и других слабовольных квакеров и пацифистов, не щадя даже своего друга Льюиса Поста.

Судья Джулиус Майер из окружного суда Соединенных Штатов отклонил ходатайство Гарри Вайнбергера о вызове нас в суд и не разрешил установить залог. Во время слушания также выяснилось нечто любопытное: государственный обвинитель заявил, что Яков Кершнер скончался много лет назад, и в 1909 году, когда его лишили гражданства, был давным-давно уже мертв. Официальное оглашение этого факта определенно свидетельствовало о преднамеренности попытки федеральных властей лишить меня гражданства, отобрав его для создания прецедента и у покойного Кершнера.

Впрочем, наш адвокат был не из тех, кто сдается без боя, и, получив отпор в одном месте, он тут же нацеливался на другое. Сейчас его мишенью был Верховный суд Соединенных Штатов: он объявил, что готовит апелляционную жалобу и будет настаивать на том, чтобы нас все-таки выпустили под залог, а затем продолжит борьбу за мое гражданство. Поистине Гарри не ведал усталости, и я была признательна ему за каждый лишний час, прожитый на американской земле.

Мы с Сашей уже давно решили опубликовать статью о нашей высылке, но понимали, что власти острова Эллис немедленно конфискуют рукопись, поэтому писать ее и отправлять на волю нужно было, соблюдая жесточайшую конспирацию. Мы работали над ней по ночам под присмотром сокамерников, а наутро, во время общих прогулок, обсуждали написанное и обменивались предложениями до тех пор, пока в один прекрасный день, переписав рукопись набело, Саша не передал ее нашим товарищам.

Ежедневно на остров доставляли по несколько десятков будущих ссыльных. Все они были из разных мест, и у большинства не было ни одежды, ни денег: проведя несколько месяцев в тюрьмах, они прибывали по этапу в Нью-Йорк в том же виде, в котором были задержаны — и это накануне ожидавшего их долгого зимнего странствия! Мы забросали товарищей просьбами прислать одежду, обувь, одеяла и другие вещи, и вскоре всё это, к безмерной радости ссыльных, начало приходить довольно крупными партиями.

Условия пребывания иммигрантов на острове Эллис нельзя было назвать иначе как ужасающими: камеры были переполнены, еда омерзительна, а обращение — хуже, чем с преступниками. Несчастные сжигали все мосты, покидали родину и перебирались в США, в страну свободы, надежд и возможностей, а вместо этого их бросали в клоповники, всячески унижали и подолгу держали в неведении, и я не уставала удивляться тому, как мало всё изменилось с 1886 года, когда я прибыла в Касл-Гарден. Беднягам, ожидающим разрешения на въезд, пересекаться с нами не разрешали, но порой нам удавалось получать от них записки, и тогда приходилось пускать в ход все наши лингвистические познания, ибо на этих клочках можно было увидеть почти все европейские языки. Увы, мы были не в состоянии сделать для них что-то весомое, но привлекали к ним внимание наших американских товарищей, всеми силами стараясь показать покинутым чужеземцам, что не все в Соединенных Штатах бездушны и формальны. В общем, мы с Сашей были просто завалены работой и не могли пожаловаться на безделье.

У меня совсем некстати случился приступ невралгии. Здешний дантист не сумел облегчить мои страдания, моему же доктору комиссар приехать не разрешил. Боль становилась нестерпимой, я решительно требовала помощи, и администрация острова пообещала обратиться за указаниями в Вашингтон, после чего мои зубы в течение целых двух суток пребывали в статусе проблемы федерального значения. В итоге всё решила тайная дипломатия: столица дала добро на визит моего дантиста, но в сопровождении охранника и надзирательницы.

Приемная доктора стала местом моей встречи с друзьями: приехали и Фитци, и Стелла, и Елена, и Егор, и маленький Иан, и старый добрый Макс, и другие товарищи. Впервые в моей жизни лечение превратилось в праздник, а время мчалось слишком быстро.

Тем временем в Вашингтоне Гарри Вайнбергер то и дело натыкался на подводные камни, во множестве разбрасываемые столичными бюрократами. Начальник канцелярии суда отказывался принять его бумаги, потому что они не были отпечатаны, но Гарри все-таки удалось подать апелляцию председателю Верховного суда Уайту. 11 декабря нашему защитнику позволили выступить на слушании, однако суд отказал в удовлетворении наших жалоб: Сашу беженцем не признали, а по моему делу затребовали все документы в печатном виде, чтобы вернуть их через неделю с отказом.

Я решила, что, если Сашу все-таки выдворят из страны, я поеду с ним: он появился в моей жизни на волне духовного пробуждения, он стал частью меня, и его Голгофа связала нас навеки. Он был моим товарищем, другом и коллегой на протяжении тридцати лет, и я не могла даже представить себе, что он присоединится к революции, а я останусь здесь.

«Ты остаёшься бороться?» — спросил как-то меня Саша на прогулке, и добавил, что я смогу многое сделать для политзаключенных и для России, если отстою свое право остаться в Соединенных Штатах. Он ничуть не изменился, подумала я: всегда у него во главе угла польза для общества и нашего движения. Обидно было сознавать, что во имя дела он может отказаться даже от меня, но я знала и настоящего Сашу, который и себе самому не признался бы в том, что под внешностью непримиримого революционера в нём скрывается искренняя сердечность. «Даже и не думай, старый прохвост, — сказала я. — Ты от меня так просто не отделаешься: я решила, что еду с тобой». В ответ он не проронил ни слова, лишь крепко сжал мою руку.

Нам оставалось провести на гостеприимной земле Соединенных Штатов всего несколько дней. Женщины были заняты последними приготовлениями: любое дело было по плечу моей дорогой Стелле, и не было невыполнимых задач для Фитци, и хотя работали они скрепя сердце, но в нашем присутствии неизменно демонстрировали бодрость духа. Ожидание разлуки с ними, с Максом, Еленой и другими товарищами было поистине мукой, но я не сомневалась, что когда-нибудь мы снова соберемся вместе — все, кроме Елены. Я не питала надежд относительно моей бедной сестры, чувствуя, что долго она не протянет, и зная, что про себя она думает точно так же, но пока мы изо всех сил держались друг друга.

Суета субботы 20 декабря была полна туманных намеков на то, что она станет для нас последним днем пребывания на острове. Власти Эллиса уверяли нас, что до Рождества нас

вряд ли вышлют — по крайней мере, не в ближайшие несколько дней, однако при этом сфотографировали нас, сняли отпечатки наших пальцев и внесли наши имена в реестры заключенных. Весь день к нам целой вереницей, поодиночке и компаниями, приезжали друзья; само собой разумеется, не преминули почтить нас своим вниманием и репортеры: известно ли нам, когда и куда нас отправляют? Каковы мои планы в отношении России? «Я создам Общество русских друзей американской свободы, — отвечала я. — Американские друзья России немало сделали для ее освобождения, теперь настал черед свободной России прийти на помощь Америке».

Гарри Вайнбергер был по-прежнему полон надежд и рвался в бой, утверждая, что я должна быть готова к скорому возвращению в Америку, но Боб Майнор лишь недоверчиво улыбался. Наш скорый отъезд очень его огорчил: мы плечом к плечу прошли множество сражений, и он был очень привязан ко мне, а Сашу просто боготворил и переживал его высылку как огромную личную потерю. А вот боль разлуки с Фитци приутихла, когда она сообщила о своем решении при первой же возможности приехать к нам в Советскую Россию. Наши гости уже собирались уходить, когда Вайнбергера официально уведомили: нас оставляют на острове еще на несколько дней. Обрадовавшись этому, мы тут же стали просить наших товарищей приехать в понедельник — наверное, уже в последний раз, потому что по воскресеньям посещения острова были запрещены.

Я вернулась в комнатушку, которую делила с двумя товарками по несчастью. Обвинение штата в преступной анархии с Этель сняли, но она всё равно подлежала высылке. В Америку она попала ребенком, и в этой стране оставалась вся ее семья и любимый человек — Сэмюэль Липман, отбывавший двадцатилетнее заключение в Левенворте. В России же друзей у нее не было, и русского языка она не знала, но не унывала, говоря, что ей есть чем гордиться: ей только-только исполнилось восемнадцать, а она уже успела напугать всемогущее правительство Соединенных Штатов.

Семья Доры Липкиной жила в Чикаго. Ее мать и сестры трудились изо всех сил, но все-таки были слишком бедны, чтобы позволить себе поездку в Нью-Йорк, так что девушка знала: ей придется уехать, не простившись с родными. Как и Этель, она долгое время жила и работала в Америке, внося свою лепту в процветание страны, которая теперь выбрасывала ее вон; хорошо хоть, ее возлюбленный тоже был в числе кандидатов на депортацию.

Я раньше не была знакома с этими девушками, но эти две недели связали нас теснейшими узами. Субботним вечером, пока я спешно отвечала на важные письма и дописывала прощальное послание родным, мои соседки вновь стояли в своем дозоре. Была уже почти полночь, когда внезапно послышался звук приближающихся шагов. «Тихо, кто-то идет!» — прошептала Этель. Я схватила свои бумаги, сунула их под подушку, и мы тут же бросились в кровати, укрылись и притворились спящими.

Шаги замерли у дверей нашей комнаты; звякнули ключи, щелкнул замок, и дверь распахнулась. Вошли два охранника и надзирательница. «Подъем! Встать! — приказали они. — С вещами на выход!» Девушки волновались, особенно Этель, которая беспомощно рылась в своих сумках и тряслась, как в лихорадке, и охранники теряли терпение. «Скорее, ну же! Давай, давай, живее!» — подгоняли они нас. Я не могла сдержать негодования. «Выйдите и

дайте нам одеться!» — потребовала я, и они вышли, оставив, впрочем, дверь открытой нараспашку. Я беспокоилась из-за писем: ни отдавать их в руки властей, ни уничтожать их у меня не было ни малейшего желания, и потому в надежде на то, что отыщется человек, который сумеет переправить их по назначению, я сунула их в корсаж и для верности закуталась в большую шаль.

В длинном, темном и холодном коридоре мы увидели мужчин, согнанных туда для отправки; среди них был и Моррис Беккер, только сегодня прибывший на остров вместе с другими русскими юношами. Некоторые опирались на костыли, а одного принесли прямо из островной больницы, невзирая на обострение его язвы. Саша помогал больным с вещами: нас настолько торопились выслать, что выгнали из камер, даже не дав толком собраться — просто разбудили и вытолкали со всеми пожитками в коридор, так что некоторые еще даже не успели проснуться, и теперь испуганно озирались, не понимая, что происходит.

Я замерзла и устала, однако ни стульев, ни лавок не было, и мы стояли в этом напоминавшем казарму помещении, дрожа от холода. Внезапная побудка застала всех врасплох, и вскоре коридор наполнился гулом возмущения: некоторым из присутствующих обещали пересмотр дела, а другие ожидали, когда за них внесут залог, и теперь, не будучи предупрежденными о высылке, они были потрясены этим полуночным штурмом и беспомощно озирались по сторонам, стараясь понять, что делать. Саша, разделив их на группы, предложил попробовать сообщить о происходящем родственникам, и они отчаянно ухватились за эту соломинку, назначив его своим представителем. Он сумел уговорить комиссара острова, и тот позволил арестантам отправить — за их же, разумеется, счет — телеграммы нью-йоркским знакомым, дабы те выслали им деньги и всё необходимое.

Взад-вперед заматались мальчишки-посыльные, собиравшие наспех написанные телеграммы: возможность связаться с близкими вселила в этих несчастных надежду. Дошло до того, что администрация острова стала сама предлагать помощь в отправке их посланий и даже принялась собирать за это плату, уверяя ссыльных, что они успеют получить ответы.

Едва была отправлена последняя телеграмма, как коридор наводнили местные и федеральные детективы, офицеры Иммиграционного бюро и береговой охраны под предводительством главного миграционного комиссара Каминетти. Люди в форме встали вдоль стен, последовала команда: «Построиться!», и сразу воцарилась тишина, которую уже в следующее мгновение нарушило хлестко прокатившееся эхом по коридору «Марш!»

Земля была покрыта снегом, резкий ветер пронизывал до самых костей. Вдоль дороги к берегу выстроилась цепь солдат и вооруженных людей в штатском. Сквозь утреннюю мглу неясно проступали очертания баржи, к которой гуськом шли ссыльные, с обеих сторон охраняемые людьми в форме, и к звону шагов по замерзшей земле примешивались ругательства и угрозы. Когда по трапу взошел последний мужчина, приказали следовать женщинам, и точно так же, как и до этого, спереди и сзади нас шли офицеры.

Нас развели по каютам, где в железных печах грозно гудело пламя, наполняя воздух чадом. Задыхаясь от нестерпимой жары и почти умирая от жажды, я тем не менее ощутила резкий толчок, а затем судно накренилось — мы тронулись.

Я посмотрела на часы; было 4.20 утра Господня 21 декабря 1919 года. С верхней палубы раздавались шаги мужчин-заключенных, бродивших на морозном ветру. У меня закружилась голова: именно так я представляла себе политзаключенных, уходивших по этапу на каторгу. Закрыв глаза, я увидела дореволюционную Россию, гнавшую всё новых и новых бунтарей на муки и страдания в далекую Сибирь, однако вокруг была Америка, земля свободы, и ее чудесный Нью-Йорк! Через иллюминатор я видела, как он растворяется в серой дали, как гордо поднимают головы его небоскребы. Он был столицей Нового света и моим любимым городом, но теперь его мать-Америка повторяла ужасный путь царской России, и эта мысль посетила меня как раз в тот момент, когда мы проходили мимо Статуи Свободы.

Уже светало, когда наша баржа пришвартовалась к большому судну, а к шести утра нас пересадили и разместили по каютам. Уставшая от бесконечных перипетий, я еле доползла до своей койки и тут же заснула.

Очнулась я от того, что кто-то стаскивал с меня одеяло. У моей койки стоял некто в белом, по всей видимости, горничная, решившая узнать, всё ли со мной в порядке и почему я так долго нахожусь в постели — было уже около шести вечера, и получается, спасительный сон избавил меня от ужасов происходящего на целых двенадцать часов. Я вышла в коридор и вздрогнула от неожиданности: кто-то грубо схватил меня за плечо. «Куда нацелилась?» — начальственным тоном осведомился человек в форме. «В туалет, если вас это интересует; не возражаете?» Хватка ослабла, но он все-таки последовал за мной и терпеливо ждал, пока я не выйду, чтобы сопроводить меня обратно в каюту. Мои спутницы рассказали, что нас взяли под стражу сразу же после прибытия, и их самих тоже повсюду сопровождали вооруженные люди.

На следующий день конвоиры привели нас на обед в офицерскую кают-компанию, где за большим столом уже сидели капитан и его гражданские и военные присные; нас же усадили за другой стол.

После обеда я попросилась на прием к руководившему этой экспедицией представителю власти — некоему Ф. Беркширу, федеральному миграционному инспектору. Он услужливым тоном поинтересовался, нравится ли нам наша каюта и довольны ли мы едой; я отвечала, что жалоб у нас нет, но нам бы хотелось знать, позволено ли нам встречаться с мужчинами, и можем ли мы вместе гулять и обедать? «Увы, это невозможно», — ответил Беркшир. Тогда я потребовала свидания с Александром Беркманом. Это тоже было запрещено, после чего я сказала инспектору, что не хотела бы доставлять ему неприятности, и потому у него есть сутки на отмену этого запрета, а если мои требования не будут выполнены, ровно через сутки я начну голодовку.

Утром ко мне под конвоем привели Сашу, которого, как мне казалось, я не видела уже несколько недель. Он рассказал, что мужчины находятся в поистине ужасных условиях: в трюм, вмещающий от силы двадцать пять человек, загнали практически вдвое больше — сорок девять заключенных, которых к тому же держат взаперти, а остальные ютятся в двух других отсеках. Койки трехъярусные, старые, ветхие и настолько просели, что спящие на нижних ярусах, поворачиваясь во сне, бьются головой о сетчатое днище лежа, на котором почивает сосед сверху. Немудрено: мы находились на судне постройки конца прошлого

века, которое в испано-американскую войну работало транспортом, а позднее было списано. Пол на палубе всё время был мокрый, так что не успевали просохнуть постели; на мытьё шла только соленая вода, мыла же не было вовсе. Еда тоже была омерзительная, особенно хлеб — недопеченный и малосъедобный, но хуже всего было то, что на двести сорок шесть мужчин имелось лишь два туалета.

Саша посоветовал нам не настаивать на том, чтобы питаться вместе с мужчинами: лучше, сказал он, если мы по возможности будем откладывать продукты для больных, которые были не в состоянии переваривать положенные им скудные пайки. Одновременно он пытался улучшить условия нашего пребывания на этом судне и вел переговоры с Беркширом по целому списку требований. Я не могла нарадоваться на Сашу, вновь преисполнившегося жизненных сил — едва увидев, что от него зависят другие люди, он тут же забыл о собственных недугах.

В кают-компании офицеры бурно и помпезно праздновали Рождество, но Этель и Дора плохо себя чувствовали и даже не вставали с постели, а одна я в компании наших надзирателей находиться бы не смогла: их рождественское пиршество было для меня хуже насмешки. Днем нас вывели на палубу, но не разрешили общаться с мужчинами, и в итоге лишь наша с Сашей настойчивость привела к тому, что ему и другу Доры разрешили нас навестить.

Тем временем напряжение между ссыльными и их надзирателями нарастало. Мужчинам запретили делать зарядку на свежем воздухе, и Саша от имени всех выступил против этого запрета. Федеральный миграционный инспектор Беркшир, казалось, склонялся к тому, чтобы выполнить это требование, но явно опасался военных, возглавлявших рать наших конвоиров. Он попытался перенаправить делегатов к «начальнику», но Саша наотрез отказался разговаривать с человеком в форме, поскольку представлял интересы политических заключенных, а не дезертиров или военных преступников. Они действительно были заключенными — их держали под замком, а у входа в их временное пристанище круглосуточно находилась вооруженная охрана. Беркшир наверняка понимал, что наши товарищи настроены решительно, и, несомненно, чувствовал, что недовольство подобным обращением вполне оправдано, и потому на Рождество он сообщил Саше, что «высшее руководство» зарядку все-таки разрешило.

Но общаться с мужчинами нам по-прежнему не позволяли. В других странах политзаключенные независимо от пола свободно беседуют на прогулке друг с другом, но пуританская Америка считала это недопустимым, и во имя спасения нравственности нас держали взаперти, пока мужчины терпели ветер и ледяные брызги: их выводили гулять на нижнюю палубу.

Море сильно волновалось, и многие ссыльные слегли; к тому же из-за грубой и плохо приготовленной пищи почти все жаловались на боли в желудке, а вечно мокрые койки стали причиной того, что люди начали страдать еще и от ревматизма. Корабельный врач не справлялся со стремительно растущим числом пациентов и предложил Саше помогать ему. Правда, моё предложение применить на деле свои сестринские навыки он встретил без воодушевления, но я не расстроилась, поскольку и так была по горло занята уходом за подругами, почти не встававшими с постели. В общем, несмотря на приближающееся

Рождество, атмосфера была очень напряженной, и в воздухе пахло грозой.

Поначалу наши конвоиры были настроены чрезвычайно враждебно, но постепенно я стала замечать в них некоторые перемены к лучшему. Их угрожающее молчание стало уступать место желанию поговорить, не мешая им, впрочем, оставаться начеку и при приближении офицера снова изображать из себя неприступные крепости. Вскоре они признались в том, что их обманули: они получили приказ явиться на службу всего за день до нашего появления на судне, и они просто не имели представления о цели, сроках и пункте назначения этой вынужденной командировки. Единственное, о чем они знали — им предстоит охранять опасных преступников, которых куда-то отправляли, поэтому почти вся наша стража была зла на своих офицеров, а некоторые даже в открытую бранили их.

Дольше всего не желал с нами разговаривать тот самый караульный, который так грубо схватил меня в первый день. Как-то вечером я смотрела, как он расхаживает взад-вперед перед нашей каютой. От бесконечной шагистики он явно устал, я предложила ему присесть, и как только поставила перед ним складной стул, его высокомерие рассыпалось, словно карточный домик. «Нельзя, — прошептал он. — В любую минуту может прийти сержант». Тогда я предложила ему поменяться местами: он сядет, а я стану на страже. «Боже мой! — воскликнул он, не в силах более сдерживаться. — А нам сказали, что ты убийца, застрелившая Мак-Кинли, и теперь замышляешь новое преступление!» С того дня его отношение к нам переменилось, и он был готов во всём нам помогать. Кроме того, он рассказал об этом случае своим сослуживцам, и те начали поочередно слоняться у нашей двери, ища возможность услужить нам, и в особенности юной и симпатичной Этель: солдаты были от нее просто без ума, и потому каждую свободную минуту посвящали теперь спорам об анархизме и поиску способов облегчить нашу участь. Своих же командиров они искренне ненавидели и были готовы сбросить их в море, потому что те обращались с ними, как с рабами, наказывая по любому поводу.

Правда, один из лейтенантов оказался обходительным и человечным. Взяв у меня несколько книг, он вернул их вместе с запиской, из которой следовало, что главой Советской России стал Калинин, а место нашей высадки пока неизвестно, но в любом случае оно будет не на территории, захваченной войсками белых. Неопределенность относительно конечного пункта нашего путешествия была главной причиной беспокойства ссыльных, и эта новость в значительной мере ее приглушила.

Тем временем наши товарищи-мужчины «агитировали» своих надсмотрщиков, пытаясь завести с ними дружеские отношения. Солдаты предложили купить у них запасные обувь и одежду: по их мнению, в России это могло бы пригодиться. Сердца служак Дядюшки Сэма помогли завоевать Сашино чутье на людей и его неистощимый запас разных историй — в скором времени они сами уже выставляли дозорного, набиваясь в его закуток и прося рассказать очередную байку. Саша знал, как их заинтересовать, и веселый смех начал перемежаться серьезными вопросами о большевиках и Советах. Нашим конвоирам не терпелось услышать, какие перемены принесла революция, и они с удивлением узнали, что в Красной армии солдаты сами выбирают офицеров, и что комиссары и командиры не смеют оскорблять рядовых бойцов, но более всего их потрясло равенство в общении и единое для всех питание.

Палубные пассажиры ютились в холоде и сырости, и многие из них не смогли запастись теплыми вещами, из-за чего теперь очень страдали. Саша предложил, чтобы те, у кого были запасы, поделились со своими менее удачливыми товарищами, и все с готовностью откликнулись на это. Сумки, чемоданы и сундуки были немедленно разобраны, и каждый отдал всё, что в данный момент ему не требовалось. Пальто, нижнее белье, шляпы, носки и прочую одежду сложили в одном из углов, а для распределения вещей была созвана комиссия. Рассказ Саши о том, как это происходило, стал ярким свидетельством солидарности и отзывчивости ссыльных — несмотря на неважную подготовку к вынужденному отъезду, они отдавали чуть ли не последние вещи, а распределение было настолько справедливым, что не вызвало ни единой жалобы.

На «Бьюфорде» почти не умолкала русская песня. До нашей каюты то и дело доносились зычные мужские голоса, поднимавшиеся с палубы над шумом волн: начинал чей-то красивый сильный баритон, которому вскоре начинал подпевать многоголосый хор. Звучали и революционные мелодии, и запрещенные народные песни, сочащиеся крестьянским горем и скорбью, или воспевающие героических некрасовских женщин, следовавших за своими любимыми в тюрьмы и ссылки. Все тут же замолкали, и даже охранники останавливались, вслушиваясь в музыку русской души.

Саша подружился с помощником коридорного, и с его помощью мы организовали переписку, ежедневно обмениваясь длинными посланиями, держа друг друга в курсе событий. Наш новый товарищ, которого мы прозвали Маком, настолько проникся к нам, что стал беспокоиться о нашей судьбе. Будучи ловким и сообразительным, он возникал перед нами в самые неожиданные моменты, но всякий раз, когда был нужен. У него появилась привычка прятать руки под фартуком, и для нас это означало маленькие подарки, которые он скрывал под одеждой: разные вкусные вещи из кладовой, сладости с капитанского стола, даже жареная курятина и выпечка — всё это мы находили под кроватями или в Сашиной койке. Однажды он привел к Саше нескольких сослуживцев, которые представились делегатами от своих товарищей по оружию. Они предложили вооружить ссыльных, арестовать всех офицеров, передать командование «Бьюфордом» Саше и идти со всеми, кто остался бы на борту, в Советскую Россию.

5 января 1920 года мы достигли Ла-Манша, и в сумке лоцмана, которую тот унес с собой, были наши первые письма в США. Безопасности ради мы адресовали их Фрэнку Харрису, Александру Харви и другим американским товарищам, переписка которых в меньшей степени, чем письма наших родных, рисковала быть перлюстрированной. Мистер Беркшир также любезно позволил нам отправить в Америку телеграмму, и хотя она обошлась почти в восемь долларов, это было ничтожной малостью в сравнении с облегчением, которое испытали наши друзья, узнав, что с нами всё в порядке.

На выходе из Ла-Манша к нашему судну присоединился британский эсминец: страхи представителей американской власти на «Бьюфорде» росли, и присутствие военных моряков стало просто необходимым. Мужчины по-прежнему жаловались на качество выдаваемого им хлеба, а поскольку их жалобы традиционно оставались без внимания, они пригрозили забастовкой. Мистер Беркшир передал Саше «строгий наказ полковника», в котором тот велел ссыльным подчиниться, но те лишь рассмеялись ему в лицо. «Беркман —

единственный командир, которого мы признаем», — кричали они. Командующий послал за Сашей и стал бушевать по поводу разложения дисциплины на корабле и братания ссыльных с солдатами, после чего пообещал обыскать мужчин на предмет спрятанного оружия. Саша бесстрашно ответил, что его товарищи будут сопротивляться, и полковник тут же успокоился, понимая, что он не сможет положиться на своих подчиненных. Саша предложил решить проблему, назначив печь хлеб двух работавших прежде поварами ссыльных. Полковник долго не мог смириться с таким посягательством на его якобы безграничную власть, но Саша настаивал, и когда он сказал о том, что уже уговорил Беркшира, его план был принят, и с тех пор все наслаждались великолепным хлебом. В тот раз удалось избежать серьезных неприятностей, но упоминание наших товарищей о забастовке и организованном сопротивлении произвело на офицеров должное впечатление. Они были уже не столь самоуверенны, и потому военный корабль стал для них настоящим подарком небес: когда на борту находится двести сорок девять радикалов, которым плевать на эполеты и позументы, и которые всегда готовы бастовать и сражаться, союзный эсминец приходится очень кстати.

Еще одной причиной тому был сам «Бьюфорд»: это корыто изначально не годилось для таких плаваний, а долгий вояж отнюдь не улучшил его состояние. Власти Соединенных Штатов были в курсе того, что судно небезопасно, но всё равно доверили ему более пятисот жизней; сейчас же оно шло в немецких территориальных водах наспигованного минами Балтийского моря, и в такой рискованной ситуации британский эсминец был просто необходим. Благо, что капитан осознавал возможную опасность и приказал держать наготове спасательные шлюпки, поручив Саше на случай тревоги дюжину лодок для мужчин-ссыльных.

Многие из них оставили в американских банках и в почтовых накоплениях значительные суммы, которые им не дали ни снять, ни перевести родным. Саша предложил Беркширу подготовить доклад о таких вкладах, чтобы отправить его в Америку и позволить родственникам ссыльных забрать их деньги. Идея инспектору понравилась, но воплощать ее он поручил Саше, и теперь он целыми днями до поздней ночи собирал информацию и систематизировал ее. После опроса было составлено тридцать три официальных заявления на общую сумму 45470 долларов 39 центов, которые остались в США. Это было всё, что эти люди насобирали за долгие годы каторжного труда и экономии на всём, причем некоторые из них положили свои деньги в частные банки, не доверяя властям, которые вышвырнуло их, как котят.

Через девятнадцать дней полного опасностей плавания мы, наконец, добрались до Кильского канала, где изрядно помятый «Бьюфорд» вынужден был на целые сутки стать на ремонт. Мужчин закрыли под палубой и окружили усиленной охраной, но прямо напротив нашей каюты бросила якорь немецкая баржа. Грех было не воспользоваться случаем, и я бросила через иллюминатор записку, в которой сообщила, кто мы такие. Моряки согласились переслать мое письмо, и я исписала бисерным почерком два листа по-немецки, рассказав о нашей высылке, о процветающей в Америке реакции, о том, как там обращаются с революционерами и заключенными, лишенными права на амнистию. Письмо было адресовано газете независимых социалистов Republik и содержало в себе, кроме моего рассказа, призыв к немецким рабочим бороться за революцию, подобную той, что

произошла в России.

Мужчины же, находясь в закрытых трюмах и почти задохнувшись от отвратительного воздуха, бурно протестовали, требуя возобновления ежедневных прогулок, которых они добились в самом начале путешествия, одновременно забрасывая трудившихся на палубе немецких рабочих посланиями, спрятанными в различные предметы. Вскоре на барже закончили ремонт, и она отчалила вместе с моим письмом, а ее экипаж на прощание прокричал американским политическим ссыльным слова поддержки, и это было трогательным проявлением человеческой солидарности, которую не смогла разрушить даже война.

Мы узнали, что изначально пунктом нашего назначения был порт Либава в западной Латвии, но через два дня пришла радиограмма, из которой следовало, что на балтийском направлении продолжаются бои, и капитан отдал приказ изменить курс «Бьюфорда». Мы вновь потерялись во всех смыслах этого слова — из-за затянувшегося опасного путешествия и ссыльные, и экипаж стали нервничать и раздражаться по пустякам. Меня же переполняли тоска по минувшему и мерзкая неопределенность грядущего: пересадить намертво вросшие в почву корни не так легко. Я ощущала одновременно тревогу, надежду и сомнение; душой же я по-прежнему была в Америке.

Наконец мы добрались до финского порта Ханко, и наше тягостное путешествие подошло к концу. Нам выдали трехдневный паек и передали местным властям, посчитав, что этим обязанности Америки исчерпываются.

По Финляндии нас везли на поезде, держа взаперти и под усиленной охраной: и на платформах, и в вагонах у конвоя были примкнуты штыки. Этель, Дора и мужчины болели, но, хотя наш поезд и останавливался на станциях, где были буфеты, выходить не разрешали никому. Купе открыли лишь в Териоки, на границе, однако за покупками отправились наши конвоиры, и хотя нам дали возможность запастись едой, мы с ужасом обнаружили, что большую часть провизии украли те самые финские солдаты, которых мы попросили ее купить. Вскоре явились представитель финского Министерства иностранных дел и военный офицер из Генштаба. Им явно не терпелось как можно скорее избавиться от американских политических ссыльных, и они потребовали, чтобы мы немедленно перешли через российскую границу, но мы отказались подчиняться этому приказу, не уведомив предварительно о нашем приезде Советскую Россию. Дальше начались переговоры с финскими властями, и нам, наконец, позволили отправить две телеграммы — одну в Москву, народному комиссару иностранных дел Чичерину, а другую нашему старому другу Биллу Шатову в Петроград. Советская комиссия приехала очень быстро: для нашей встречи Чичерин отправил в качестве своего представителя Файнберга, Петроградский совет делегировал Зорина, секретаря городского комитета Коммунистической партии, а вместе с ними приехала госпожа Андреева, жена Горького. Наш багаж в считанные минуты перебросили в поезд, идущий по ту сторону границы, но как раз в этот самый момент пришло сообщение о полном разгроме Красной армией деникинских войск, и воздух наполнился радостным «Ура», рвущимся из двухсот сорока девяти глоток политических ссыльных.

